

Иван Тургенев

По поводу «Отцов и детей»



Иван Сергеевич Тургенев
По поводу «Отцов и детей»
Серия «Литературные и
житейские воспоминания»

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3006225

Аннотация

«...дело было в августе месяце 1860 года, когда мне пришла в голову первая мысль «Отцов и детей», этой повести, по милости которой прекратилось – и, кажется, навсегда – благосклонное расположение ко мне русского молодого поколения. Не однажды слышал я и читал в критических статьях, что я в моих произведениях «отправляюсь от идеи» или «провожаю идею»; иные меня за это хвалили, другие, напротив, порицали; с своей стороны, я должен сознаться, что никогда не покушался «создавать образ», если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикладывались подходящие элементы...»

Содержание

Иван Сергеевич Тургенев

По поводу «Отцов и детей»

Я брал морские ванны в Вентноре, маленьком городке на острове Уайте, – дело было в августе месяце 1860 года, – когда мне пришла в голову первая мысль «Отцов и детей», этой повести, по милости которой прекратилось – и, кажется, навсегда – благосклонное расположение ко мне русского молодого поколения. Не однажды слышал я и читал в критических статьях, что я в моих произведениях «отправляюсь от идеи» или «провожу идею»; иные меня за это хвалили, другие, напротив, порицали; с своей стороны, я должен сознаться, что никогда не покушался «создавать образ», если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикладывались подходящие элементы. Не обладая большою долею свободной изобретательности, я всегда нуждался в данной почве, по которой я бы мог твердо ступать ногами. Точно то же произошло и с «Отцами и детьми»; в основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. (Он умер незадолго до 1860 года.) В этом замечательном человеке воплотилось – на мои глаза – то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не

совсем ясно; я, на первых порах, сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета – и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая поверить правдивость собственных ощущений. Меня смущал следующий факт: ни в одном произведении нашей литературы я даже намека не встречал на то, что мне чудилось повсюду; поневоле возникло сомнение: уж не за призраком ли я гоняюсь? Помнится, вместе со мною на острове Уайте жил один русский человек, одаренный весьма тонким вкусом и замечательной чуткостью на то, что покойный Аполлон Григорьев называл «веяньями» эпохи. Я сообщил ему занимавшие меня мысли – и с немым изумлением услышал следующее замечание: «Да ведь ты, кажется, уже представил подобный тип... в Рудине?» Я промолчал: что было сказать? Рудин и Базаров – один и тот же тип!

* * *

Эти слова так на меня подействовали, что в течение нескольких недель я избегал всяких размышлений о затеянной мною работе; однако, вернувшись к Парижу, я снова принялся за нее – фабула понемногу сложилась в моей голове: в течение зимы я написал первые главы, но окончил повесть уже в России, в деревне, в июле месяце. Осенью я прочел ее некоторым приятелям, кое-что исправил, дополнил, и в марте 1862 года «Отцы и дети» явились в «Русском вестнике»...

Я испытал тогда впечатления, хотя разнородные, но одинаково тягостные. Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих мне близких и симпатических людях; я получал поздравления, чуть не лобызания, от людей противного мне лагеря, от врагов. Меня это конфузило... огорчало; но совесть не упрекала меня: я хорошо знал, что я честно, и не только без предубеждения, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу¹, я слишком уважал призвание художника, литератора, чтобы покривить душою в таком деле. Слово «уважать» даже тут не совсем у места; я просто иначе не мог и не умел работать; да и, наконец, повода к тому не предстояло. Мои критики называли мою повесть «памфлетом», упоминали о «раздраженном», «уязвленном» самолюбии; но с какой стати стал бы я писать памфлет на Добролюбова, с которым я почти не видался, но которого высоко ценил как человека и как талантливого писателя? Какого бы я ни был скромного мнения о своем даровании – я все-таки считал и считаю сочинение памфлета, «пасквиля», ниже его, недостойным его. Что же касается до «уязвленного» самолюбия – то замечу только, что статья Добролюбова *о последнем моем произведении перед «Отцами и детьми»* – о «Накануне» (а он по праву считался выра-

¹ Позволю себе привести следующую выписку из моего дневника: «30 июля, воскресенье. Часа полтора тому назад я кончил, наконец, свой роман... Не знаю, каков будет успех. «Современник», вероятно, оболет меня презрением за Базарова – и не поверит, что во все время писания я чувствовал к нему невольное влечение...» (Примеч. И. С. Тургенева.)

зителем общественного мнения), – что эта статья, явившаяся в 1861 году, исполнена самых горячих – говоря по совести – самых незаслуженных похвал. Но господам критикам нужно было представить меня оскорбленным памфлетистом: «leur siege etait fait»² и еще в нынешнем году я мог прочесть в Приложении № 1-й к «Космосу» (стр. 96), следующие строки: «Наконец, *всем известно*, что пьедестал, на котором стоял г. Тургенев, был разрушен главным образом Добролюбовым»... а далее (на стр. 98) говорится о моем «ожесточении», которое г-н критик, впрочем, понимает – и «пожалуй, даже извиняет».

* * *

Господа критики вообще не совсем верно представляют себе то, что происходит в душе автора, то, в чем именно состоят его радости и горести, его стремления, удачи и неудачи. Они, например, и не подозревают того наслаждения, о котором упоминает Гоголь и которое состоит в казнении самого себя, своих недостатков в изображаемых вымышленных лицах; они вполне убеждены, что автор непременно только и делает, что «проводит свои идеи»; не хотят верить, что точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни – есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина

² Осада началась (*франц.*).

не совпадает с его собственными симпатиями. Позволю себе привести небольшой пример. Я – коренной, неисправимый западник, и нисколько этого не скрывал и не скрываю; однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина (в «Дворянском гнезде») все комические и пошлые стороны западничества; я заставил славянофила Лаврецкого «разбить его на всех пунктах». Почему я это сделал – я, считавший славянофильское учение ложным и бесплодным? Потому, что в *данном случае – таким именно образом, по моим понятиям*, сложилась жизнь, а я прежде всего хотел быть искренним и правдивым. Рисуя фигуру Базарова, я исключил из круга его симпатий все художественное, я придавал ему резкость и бесцеремонность тона – не из нелепого желания оскорбить молодое поколение (!!!)³, а просто вследствие наблюдений над моим знакомцем, доктором Д. и подобным ему лицам. «Эта жизнь так складывалась», – опять говорил мне опыт – может быть, ошибочный, но, повторяю, добросовестный; мне нечего было мудрить – и я должен был именно так нарисовать его фигуру. Личные мои наклонности тут ничего не значат; но, вероятно, многие из моих читателей удивятся, если я скажу им, что, за исключением

³ В числе множества доказательств моей «злости против юношества» – один критик привел и тот факт, что я заставил Базарова проиграть в карты отцу Алексею. «Не знает, мол, чем бы только уязвить и унижить его! И в карты, мол, не умеет играть!» Нет никакого сомнения, что если бы я заставил Базарова выиграть – тот же критик с торжеством бы воскликнул: «Не явное ли дело? Автор хочет дать понять, что Базаров шулер». (Примеч. И. С. Тургенева.)

воззрений на художества, – я разделяю почти все его убеждения. А меня уверяют, что я на стороне «Отцов»... я, который в фигуре Павла Кирсанова даже погрешил против художественной правды и пересолил, довел до карикатуры его недостатки, сделал его смешным!⁴

* * *

Вся причина недоразумений, вся, как говорится, «беда» состояла в том, что воспроизведенный мною базаровский тип не успел пройти чрез постепенные фазисы, через которые обыкновенно проходят литературные типы. На его долю не пришлось – как на долю Онегина или Печорина – эпохи идеализации, сочувственного превознесения. В самый момент появления *нового* человека – Базарова – автор отнесся к нему критически... объективно. Это многих сбilo с толку – и кто знает! в этом была – быть может – если не ошибка,

⁴ Иностранцы никак не могут понять беспощадных обвинений, возводимых на меня за Базарова. «Отцы и дети» были переведены несколько раз на немецкий язык; вот что пишет один критик, разбирая последний перевод, появившийся в Риге: «Для непредубежденного... читателя остается совершенно непонятным, как могла радикальная русская молодежь, по поводу подобного представителя ее убеждений и стремлений, каким нарисовал Базарова Тургенев, – войти в такую ярость, что подвергла сочинителя формальной опале и осыпала его всяческой бранью? Можно было скорее предположить, что всякий новейший радикал с чувством радостного удовлетворения признает свой собственный портрет силою характера, такой полной независимостью от всего мелкого, пошлого, вялого и ложного». (Примеч. И. С. Тургенева.)

то несправедливость. Базаровский тип имел по крайней мере столько же права на идеализацию, как предшествовавшие ему типы. Я сейчас сказал, что отношения автора к выведенному лицу сбили читателя с толку: читателю всегда неловко, им легко овладевает недоумение, даже досада, если автор обращается с изображаемым характером, как с живым существом, то есть видит и выставляет его худые и хорошие стороны, а главное, если он не показывает явной симпатии или антипатии к собственному детищу. Читатель готов рассердиться: ему приходится не следовать по начертанному уже пути, а самому проторивать дорожку. «Очень нужно трудиться! – невольно рождается в нем мысль, – книги существуют для развлечения, не для ломанья головы; да и что стоило автору сказать, как мне думать о таком-то лице – как он сам о нем думает!» А если отношения автора к этому лицу свойства еще более неопределенного, если автор сам не знает, любит ли он или нет выставленный характер (как это случилось со мною в отношении к Базарову, ибо то «невольное влечение», о котором я упоминаю в моем дневнике, – не любовь) – тогда уже совсем плохо! Читатель готов навязать автору небывалые симпатии или небывалые антипатии, чтобы только выйти из неприятной «неопределенности».

* * *

«Ни отцы, ни дети», – сказала мне одна остроумная дама

по прочтении моей книги, – вот настоящее заглавие вашей повести – и вы сами нигилист»... Не берусь возражать; быть может, эта дама и правду сказала. В деле сочинительства всякий (сужу по себе) делает не то, что хочет, а то, что может – и насколько удастся. Полагаю, что произведение беллетристики должно судить en gros⁵ – и, строго требуя добросовестности от автора, на остальные стороны его деятельности смотреть – не скажу равнодушно, но спокойно. А в отсутствии добросовестности – при всем желании угодить моим критикам – я признать себя виновным не могу.

* * *

У меня по поводу «Отцов и детей» составила довольно любопытная коллекция писем и прочих документов. Сопоставление их не лишено некоторого интереса. В то время, как одни обвиняют меня в оскорблении молодого поколения, в отсталости, в мракобесии, извещают меня, что с «хохотом презрения сжигают мои фотографические карточки», – другие, напротив, с негодованием упрекают меня в низкопоклонстве перед самым этим молодым поколением. «Вы ползаете у ног Базарова! – восклицает один корреспондент, – вы только притворяетесь, что осуждаете его; в сущности вы заискиваете перед ним и ждете, как милости, одной

⁵ В общем (*франц.*).

его небрежной улыбки!» Помнится, один критик, в сильных и красноречивых выражениях, прямо ко мне обращенных, представил меня вместе с г-м Катковым в виде двух заговорщиков, в тишине уединенного кабинета замышляющих свой гнусный ков, свою клевету на молодые русские силы... Картина вышла эффектная! На деле вот как происходил этот «заговор». Когда г. Катков получил от меня рукопись «Отцов и детей», о содержании которой он не имел даже приблизительного понятия, – он почувствовал недоумение. Тип Базарова показался ему «чуть не апофеозой «Современника», и я бы не удивился, если б он отказался от помещения моей повести в своем журнале. «Et voila comme on ecrit l'histoire!»⁶ можно бы тут воскликнуть... но позволительно ли величать таким громким именем такие маленькие вещи?

* * *

С другой стороны, я понимаю причины гнева, возбужденного моей книгой в известной партии. Они не лишены основания, и я принимаю – без ложного смирения – часть падающих на меня упреков. Выпущенным мною словом «нигилист» воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овладевшее русским обществом. Не в виде укоризны, не с целью

⁶ «И вот как пишется история» (франц.).

оскорбления было употреблено мною это слово; но как точное и уместное выражение проявившегося – исторического – факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения, – почти в клеймо позора. Несколько печальных событий, совершившихся в ту эпоху, дали еще более пищи нарождавшимся подозрениям – и, как бы подтверждая распространенные опасения, оправдали старания и хлопоты наших «спасителей отечества»... ибо и у нас на Руси проявились тогда «спасители отечества». Общественное мнение, столь неопределенное еще у нас, хлынуло обратной волной... Но на мое имя легла тень. Я себя не обманываю; я знаю, эта тень, с моего имени не сойдет. Но могли же другие люди – люди, перед которыми я слишком глубоко чувствую свою незначительность, могли же они промолвить великие слова: «*Perissent nos noms, pourvu que la chose publique soit stauvee!*»⁷ В подражание им и я могу себя утешить мыслью о принесенной пользе. Эта мысль перевешивает неприятность незаслуженных нареканий. Да и в самом деле – что за важность? Кто через двадцать, тридцать лет будет помнить обо всех этих бурях в стакане воды – и о моем имени – с тенью или без тени?

⁷ То, есть: пускай погибнут наши имена, лишь бы общее дело было спасено!
(Примеч. И. С. Тургенева.)

* * *

Но довольно говорить обо мне – и пора прекратить эти отрывочные воспоминания, которые, боюсь, мало удовлетворят читателей. Мне хочется только, перед прощанием, сказать несколько слов моим молодым современникам – моим собратьям, вступающим на скользкое поприще литературы. Я уже объявил однажды и готов повторить, что не ослепляюсь насчет моего положения. Мое двадцатипятилетнее «служение музам» окончилось среди постепенного охлаждения публики – и я не предвижу причины, почему бы она снова согрелась. Наступили новые времена, нужны новые люди; литературные ветераны подобны военным – почти всегда инвалиды – и благо тем, которые вовремя умеют сами подать в отставку! Не наставническим тоном, на который я, впрочем, не имею никакого права, – намерен я произнести мои прощальные слова, а тоном старого друга, которого выслушивают с полуснисходительным, полунетерпеливым вниманием, если только он не вдается в излишнее разглагольствование. Я постараюсь его избежать.

* * *

Итак, мои молодые собратья, к вам идет речь моя.

Gruift run' hinein ill's vollo Monschcnleben! —

сказал бы я вам со слов нашего общего учителя, Гете —

Ein jeder lebt's – nicht vielen ist's bekannt,
Und wo ihr's packt – da ist's interessant!⁸

Силу этого «схватывания», этого «уловления» жизни дает только талант, а талант дать себе нельзя; но и одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общение с средою, которую берешься воспроизводить; нужна правдивость, правдивость неумолимая в отношении к собственным ощущениям; нужна свобода, полная свобода воззрений и понятий – и, наконец, нужна образованность, нужно знание! «А! понимаем! видим, куда вы гнете! – воскликнут здесь, пожалуй, многие. – Потугинские идеи – ци-ви-ли-зация, prenez mon ours!»⁹ Подобные восклицания не удивят меня; но и не заставят отступить ни от одной йоты. Учение – не только свет, по народной пословице, – оно также и свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание, – и нигде так свобода не нужна, как в деле художества, поэзии: недаром даже на казенном языке художества зовутся «вольными», свободными. Может ли человек «схватывать», «уловлять» то, что его

⁸ То есть: Запускайте руку (лучше и я не умею перевести) внутрь, в глубину человеческой жизни! всякий живет ею, не многим она знакома – и там, где вы ее схватите, там будет интересно! (Примеч. И. С. Тургенева.)

⁹ Верните моего медведя (франц.).

окружает, если он связан внутри себя? Пушкин это глубоко чувствовал; недаром в своем бессмертном сонете, в этом сонете, который каждый начинающий писатель должен подтвердить наизусть и помнить, как заповедь, – он сказал:

...дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя *свободный* ум...

Отсутствием подобной свободы объясняется, между прочим, и то, почему ни один из славянофилов, несмотря на их несомненные дарованья¹⁰, не создал никогда ничего живого; ни один из них не сумел снять с себя – хоть на мгновение – своих окрашенных очков. Но самый печальный пример отсутствия истинной свободы, проистекающего из отсутствия истинного знания, представляет нам последнее произведение графа Л. Н. Толстого («Война и мир»), которое в то же время по силе творческого, поэтического дара стоит едва ли не во главе всего, что явилось в европейской литературе с 1840 года. Нет! без правдивости, без образования, без свободы в обширнейшем смысле – в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории, – немыслим истинный художник; без

¹⁰ Славянофилов, конечно, нельзя упрекнуть в невежестве, в недостатке образования; но для произведения художественного результата нужно – говоря новейшим языком – совокупное действие многих факторов. Фактор, недостающий славянофилам, – свобода; другие нуждаются в образовании, третьи – в таланте и т. д. (*Примеч. И. С. Тургенева.*)

этого воздуха дышать нельзя.

* * *

Что же касается до окончательного результата, до окончательной оценки так называемой литературной карьеры, – то и тут приходится вспомнить слова Гете:

Sind's Rosen – nun sic werden bliih'n¹¹.

Непризнанных гениев нет – так же, как нет заслуг, переживающих свою урочную череду. «Всякий рано или поздно попадает на свою полочку», – говаривал покойный Белинский. Уже и на том спасибо, коли в свое время и в свой час ты принес посильную лепту. Лишь одни избранные в состоянии передать потомству не только содержание, но и форму своих мыслей и воззрений, свою личность, до которой массе, вообще говоря, нет никакого дела. Обыкновенные индивидуумы осуждены на исчезновение в целом, на поглощение его потоком; но они увеличили его силу, расширили и углубили его круговорот – чего же больше?

¹¹ Коли это розы – цвести они будут.

* * *

Кладу перо... Еще один последний совет молодым литераторам и одна последняя просьба. Друзья мои, не оправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на вас клевету; не старайтесь разъяснить недоразумения, не желайте – ни сами сказать, ни услышать «последнее слово». Делайте свое дело – а то все перемелется. Во всяком случае, пропустите сперва порядочный срок времени – и взгляните тогда на все прошедшие дразги с исторической точки зрения, как я попытался это сделать теперь...

* * *

А просьба моя состоит в следующем: берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в челе которых блистает опять-таки Пушкин! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса! Даже тем, которым не по вкусу «философские отвлеченности» и «поэтические нежности», людям практическим, в глазах которых язык не что иное, как средство к выражению мысли, как простой рычаг, – даже им скажу я: уважайте по крайней мере законы механики, извле-

кайте из каждой вещи всю возможную пользу! А то, право, пробегая иные вялые, смутные, бессильно-пространные разглагольствования в журналах, читатель невольно должен думать, что именно рычаг-то вы заменяете первобытными подпорками, – что вы возвращаетесь к младенчеству самой механики...

Но довольно, а то я сам впаду в многоречивость.